

Институт славяноведения РАН
Центр славяно-германских исследований

ВЛАСТЬ И ОБРАЗ

Очерки потестарной имагологии

Ответственные редакторы
М.А. Бойцов, Ф.Б. Успенский

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЯ
2010

УДК 321.01
ББК 87.7
В58

Материалы сборника подготовлены при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (проект 04-01-00277а)

Ответственные редакторы: *М. А. Бойцов, Ф. Б. Успенский*

Редакционная коллегия:

А. Ф. Литвина, С. М. Михеев, О. И. Тогоева

Рецензенты:

А. П. Черных, Р. М. Шукуров

В58 Власть и образ: очерки потестарной имагологии / отв. ред.
М. А. Бойцов, Ф. Б. Успенский. — СПб. : Алетей, 2010. — 384 с.
ISBN 978-5-91419-366-6

В сборник включены исследования, выполненные сотрудниками ряда академических институтов и ведущих университетов в рамках потестарной имагологии — новой отрасли исторического знания, изучающей, какие системы образов участвуют в установлении отношений господства и подчинения, в приобретении и удержании власти, в выстраивании связей между различными группами элит, с одной стороны, и между господствующими и подвластными слоями общества, с другой. Авторы сборника прослеживают возникновение и судьбу целого ряда потестарных образов (представленных чаще всего в мифе, тексте, архитектурной конструкции, изображении и ритуале) в культурах прошлого — от Античности до эпохи Великой Французской революции. Конкретные примеры, разбираемые в отдельных статьях, относятся к истории России, а также Древнего Рима, Византии, ряда стран Западной Европы и Америки.

Сборник рассчитан на историков, культурологов, политологов, а также всех, интересующихся прошлым.

УДК 321.01
ББК 87.7

ISBN 978-5-91419-366-6



© Коллектив авторов, 2010
© Институт славяноведения, 2010
© Издательство «Алетей» (СПб.), 2010
© «Алетей. Историческая книга», 2010

Михаил Бойцов

ЧТО ТАКОЕ ПОТЕСТАРНАЯ ИМАГОЛОГИЯ?

Прежде всего несколько слов о терминологии. Слово «имагология» появилось на страницах академических, в первую очередь социологических, изданий, еще в 20-х гг. XX в.¹ Однако широкое распространение оно получило лишь с середины 50-х годов, притом благодаря уже не столько социологам, сколько филологам, увлекшимся тогда (как, впрочем, увлекающимся и сейчас) исследованиями на темы вроде «Образ англичанина во французской художественной литературе». Отсюда пошло одно из направлений сравнительного литературоведения — *компаративная имагология*, — сложившееся раньше всего во Франции, но затем распространившееся и на другие страны Европы и Америки.

Такая имагология быстро переросла рамки литературоведения, превратившись в самостоятельную дисциплину, изучающую, как в одной культуре складываются и развиваются образы других культур (стран, народов). В нашей стране первыми яркими работами такого плана стали, пожалуй, книги А. Б. Давидсона и В. А. Макрушина «Образ далекой страны» М., 1975 (об Африке) и Н. Е. Ерофеева «Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских 1825–1853», М., 1982². Одновременно имагология, понимаемая как знание о национальных образах и этнических стереотипах, а также их влиянии на общество, закрепилась в этнологии и ряде смежных с ней дисциплин. Впрочем, и в филологии продолжали время от времени рождаться все новые трактовки «имагологии»: этим словом иногда называют учение о возможности передачи литературных образов при переводе с одного языка на другой, а отдельная *лингвистическая имагология* призвана изучать стереотипы, с ко-

¹ Считается, что термин введен в оборот в книге: *Lippmann W. Public Opinion*. L., 1922.

² Из других работ сходного содержания см., например: *Данциг Б. М.* Ближний Восток в русской науке и литературе (дооктябрьский период). М., 1973; *Африка глазами наших соотечественников*. М., 1974; *Давидсон А. Б., Макрушин В. А.* Зов далеких морей. М., 1979; *Сирия, Ливан и Палестина в описаниях русских путешественников, консульских и военных обзоров первой пол. XIX в.* М., 1991; *Россия первой половины XIX века глазами иностранцев*. Л., 1991; *Болховитинов Н. Н.* Россия открывает Америку (1732–1799). М., 1991; *Рождественская М. В.* Образ Святой Земли в древнерусской литературе // *Иерусалим в русской культуре*. М., 1994; *Раба Й.* Специфика древнерусских описаний Святой Земли // *Славяне и их соседи*. Вып. 5. М., 1994; *Образ России в мировой культуре и образы других стран*. XIX–XX вв. М., 1998 и др.

торами носители одного языка относятся к другому языку или же к «чужим» формам языка собственного.

Что касается истории, то здесь самый заметный сдвиг в имагологической проблематике за последние десятилетия состоял, похоже, в переходе от описания отдельных образов «чужих» (по типу «китайцы глазами русских в XIX в.», «русские глазами китайцев в XIX в.») к рассмотрению каждого подходящего случая через призму *общей проблемы* «образа Чужого» — эта перемена естественно вытекала из проблематики и подходов исторической антропологии³. Многочисленные исследования, уже проведенные в рамках изучения «Чужого», очертили определенный сегмент интеллектуального поля, которому специалисты дали собственное название *аллологии*⁴.

За пределами академических трудов сложились свои, особые, трактовки слова «имагология». Одна из самых распространенных восходит, возможно, к писателю Милану Кундере⁵. В «кундеровском» понимании имагология оказывается теорией и практикой сотворения «кажимостей», создания вымышленной реальности, которая при всей своей искусственности в состоянии затмевать реальность подлинную — «материк все менее и менее посещаемый» современным человеком «и, кстати, заслуженно нелюбимый». Вполне закономерно, что в публицистике слово «имагология» применяют для неодобрительной оценки информационной политики властей, прежде всего в области телевидения. Это не мешает самим работникам масс-медиа тоже пользоваться словом «имагология» для описа-

³ Из публикаций на русском языке можно назвать, например: Одиссей. Человек в истории: образ «другого» в культуре. М., 1993; Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья / Под ред. Р.М. Шукурова. М., 1999; Лучицкая С.И. Образ другого: мусульмане в хрониках Крестовых походов. СПб., 2001. Из библиографического аппарата к этим книгам можно получить некоторое представление о широком круге западных работ на темы «чужого» и его восприятия. См. также исследование на совершенно ином материале: Образ врага в советской пропаганде. 1945–1954 гг. М., 1999. Есть, однако, большое число работ, в которых историку приходится так сказать стихийно, без особой методологической рефлексии сталкиваться с проблемами имагологии и решать их хотя бы на эмпирическом уровне. Достаточно вспомнить о специфике использования такого источника, как записки иностранцев о чужих для них краях.

⁴ Еще ранее проблему «Чужого» активно обсуждали писатели-фантасты, разбиравшие всевозможные варианты взаимодействия (взаимопонимания или же, напротив взаимопонимания) между человечеством и инопланетными цивилизациями. Они же предложили и название для дисциплины, изучающей неземных «чужих» — *ксенология*.

⁵ Кундера М. Бессмертие. СПб., 2004. С. 126–131. Очевидно влияние на Кундере в этом пункте французской философской и социологической мысли, в частности, Ролана Барта и Жана Бодрийера с его знаменитыми «симулякрами».

ния собственной профессиональной деятельности — притом без всяких негативных коннотаций: для них «имагология» — не более чем нейтральная технология — как анализа уже существующих в средствах коммуникации образов, так и создания образов новых.

По поводу термина «потестарный» здесь стоит заметить, пожалуй, лишь то, что его применяют в самой разной научной литературе, но охотнее и последовательнее всего он используется в этнологии и культурной антропологии. Там с его помощью описываются отношения власти в *догосударственных обществах*⁶.

Словосочетание «потестарная имагология», вынесенное в заглавие настоящего сборника, вовсе не является арифметической суммой перечисленных смыслов, числящихся за каждым из входящих в него по отдельности. Более того, значение каждого из этих слов здесь существенно отличается от приведенных выше трактовок. Так, принятое в антропологии инструментальное ограничение «потестарности» *догосударственными* отношениями для нашего случая не только бесполезно, но даже вредно. Преимущество этого слова состоит как раз в широте заложенной в нем семантики: его можно применять к отношениям власти на любом уровне развития общества — как *до* государственности, так и *после* ее возникновения, как в системе государственной власти, так и в сегментах социума, существующих так сказать, «рядом» или «помимо» государственных структур. Столь же широко следует понимать и слово «имагология» — как знание об образах самого разного свойства (о чем подробнее чуть ниже).

Из сказанного понятно уже, что «потестарная имагология» должна представлять собой дисциплину, занимающуюся изучением *образов власти*. Существует ли такая дисциплина в действительности? И да и нет. В качестве доказательства того, что она не только существует, но и процветает, можно было бы составить бесконечный список самых разнообразных публикаций, посвященных «образам власти», число которых в последнее время растет от года в год едва ли не в геометрической прогрессии. Зато против ее существования свидетельствует то, что большинство авторов таких публикаций даже не подозревают о своем «родстве»: сами они относят себя к весьма различным профессиональным ячеекам. Повышенный интерес к проблематике потестарной имагологии практически одновременно стали проявлять и «просто» историки (притом самых разных периодов и культур), и историки права, литературы и искусства, не говоря уже о социологах, политологах, теоретиках коммуникационных процессов и др. Однако при том, что сотни или даже тысячи людей разом двинулись в одном и том же направлении, каждый почему-то полагает, что шагает

⁶ См., например: Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., 1988.

в одиночку или в лучшем случае с небольшой группой близких по интересам коллег. Причина такой аберрации зрения — не в последнюю очередь как раз в отсутствии *обозначения* общего направления движения. Ведь пока вещь не названа, она не существует.

Не будучи до сих пор названной по имени, потестарная имагология присутствует в современной научной жизни анонимно и дисперсно. У нее нет пока что ясных дефиниций, ее границы со смежными дисциплинами не намечены, пределы ее возможностей не выявлены, характер методологических самоограничений не определен. Весьма затруднительно назвать научные центры, в которых потестарной имагологией занимались бы специально, зато имеется великое множество локальных, региональных, национальных и международных организаций историков, искусствоведов, литературоведов и др., для которых темы образов власти занимают если и не самое главное, то весьма важное и почетное место. Приведу пример из области, известной мне лучше других — медиевистики. В 1985 г. в Германии была основана Комиссия по изучению княжеских резиденций в Средние века и раннее Новое время, снискавшая за прошедшие двадцать лет широкое международное признание своей активностью, а главное продуктивностью. Поскольку «ключевым словом» для историков этой группы является «резиденция» или же «княжеский двор», они стараются рассматривать *все* возможные аспекты придворной жизни, включая «экономику двора», его просопографию, технологию возведения дворцов и замков, повседневную организацию придворной жизни, историю отдельных резиденций и многое иное, что не имеет прямого отношения к потестарной имагологии. Но наряду с этим они же уделяют много внимания придворному церемониалу, праздникам, ритуалам, символикe, обычаям, любым формам самоинсценирования власти хозяев «резиденций» — т. е. интересующей нас проблематике.

То же справедливо и по отношению к другим сообществам исследователей: будь то, например, два широких междисциплинарных сектора «Динамика ритуала» при Гейдельбергском университете и «Символическая коммуникация» при университете в Мюнстере, или же такие узкоспециализированные объединения, как «Дворы дома Габсбургов» при Австрийской академии наук, Society for Court Studies в Великобритании, центр Eugora delle Corti в Ферраре и др. В нашей стране тоже существует похожая по тематическим интересам группа «Власть и общество», некоторые участники которой разрабатывают в своих публикациях сюжеты из области потестарной имагологии⁷. Пожалуй, лучше, чем в организационных структурах се-

⁷ Двор средневекового монарха: явление, модель, среда / Под ред. Н. А. Хачатурян. М., 2001; Королевский двор в политической культуре средневековой Европы. Теория. Символика. Церемониал / Отв. ред. Н. А. Хачатурян. М., 2004; Священное тело короля. Ритуалы и мифология власти / Под ред. Н. А. Хачатурян. М., 2006; Власть, общество, индивид в средневековой Европе / Под ред. Н. А. Хачатурян. М., 2008. См.

годняшней исторической науки, «сектор» потестарной имагологии просматривается в названиях и программах международных конференций, а также темах больших выставок, состоявшихся в различных странах на протяжении последних пятнадцати-двадцати лет. Конечно же, стремительно растут и количество монографических исследований, посвященных потестарно-имагологической проблематике (не говоря уже об отдельных статьях и их тематических сборниках), хотя, повторю, авторы множества внешне очень разнообразных по сюжетам и методам публикаций редко осознают, что их исследования — часть общего и весьма мощного потока.

Из вышедшей за последние десятилетия литературы по потестарной имагологии наибольшее впечатление на историков в нашей стране произвел первый том книги Р. Уортмана «Сценарии власти»⁸. Однако соответствующая проблематика была и раньше представлена в отечественной научной литературе, в частности, в трудах т. н. тартусско-московской семиотической школы, и книга Б. А. Успенского «Царь и патриарх»⁹ может рассматриваться в качестве одного из наиболее весомых итогов развития данного направления. В «западной» части отечественной медиевистики для развития потестарной имагологии немало сделал А. Я. Гуревич — как своими работами о скандинавских конунгах, так и в еще большей степени исследованием общих оснований средневековой культуры, в частности имеющих отношение к власти. Однако классика направления возникла, как водится, за пределами России, причем вряд ли случайным совпадением стало то, что самые известные труды по потестарной имагологии появились в десятилетия между двумя мировыми войнами. Не случайно книги, вышедшие уже в 50-е гг. и даже позже очень часто в решающей степени опирались на штудии, предпринятые еще в межвоенное время или попросту следовали им. За всем разнообразием как в фактуре, так и в подходах исследователей угадывается их общий интерес к роли государственных идеологий в функционировании власти. Для медиевистов классикой стали исследования М. Блока о «королях-чудотворцах»¹⁰, также: Искусство власти. Сборник в честь профессора Н. А. Хачатурян / Под ред. О. В. Дмитриевой. СПб., 2007.

⁸ Уортман Р. С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. От Петра Великого до смерти Николая I. М., 2002. По поводу внезапного увлечения у нас этой книгой см.: Эрлих С. Е. Уортмания (восприятие идей Р. Уортмана в России) // Нестор. 2005. № 7. С. 429–442, а также: Богомолов А. И. «Сценарии власти» Ричарда Уортмана: обзор зарубежных и отечественных рецензий // Там же. С. 443–455.

⁹ Успенский Б. А. Царь и патриарх. Харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998.

¹⁰ Bloch M. Les rois thaumaturges. Études sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre. P., 1924 (Русский перевод: Блок М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном

П. Э. Шрамма¹¹ и его постоянного оппонента Й. Деэра¹² о знаках и символах власти и Э. Х. Канторовича о средневековой политической метафоре¹³. У античников сходное место заняли труды А. Альфельди¹⁴, у византистов — О. Трайтингера¹⁵. В особую группу можно объединить исследования по иконографии государей, представленную прежде всего трудами А. Грабара¹⁶, П. Э. Шрамма и Ф. Мютерих¹⁷, Г. Ладнера¹⁸, а также серией *Das götliche Herrscherbild*. Список легко может быть продолжен — здесь названы лишь те работы, что, так сказать, на слуху.

Несправедливо было бы утверждать, что интересы потестарной имагологии обращены исключительно в прошлое. Напротив, современность открывает для нее широкое поле деятельности — что также легко проиллюстрировать большим числом публикаций на соответствующие темы. Лишь в силу специфики профессиональных интересов редакторов сборника и их коллег здесь все внимание оказалось уделено «исторической» стороне потестарной имагологии, но читатель при желании легко сможет ознакомиться с ее же не менее ярко выраженной «актуальной» или

характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998).

¹¹ *Schramm P. E.* Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge zu ihrer Geschichte vom 3. bis zum 16. Jahrhundert. Bde. 1–3. Stuttgart, 1954 (MGH Schriften, 13).

¹² *Deér J.* Byzanz und das abendländische Herrschertum. Ausgewählte Aufsätze / Hrsg. von Peter Classen. Sigmaringen, 1977 (Vorträge und Forschungen, 21); *Idem.* Die Heilige Krone Ungarns. Wien, 1966 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse. Denkschriften, 91).

¹³ *Kantorowicz E. H.* The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. Princeton, 1957.

¹⁴ *Alföldi A.* Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreich. Darmstadt, 1970 (первоначально опубликовано в виде двух работ: Die Ausgestaltung des monarchischen Zeremoniells am römischen Kaiserhofe // Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung. Bd. 49. 1934. S. 3–118; Insignien und Tracht der römischen Kaiser // Ibid. Bd. 50. 1935. S. 3–158).

¹⁵ *Treitinger O.* Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell. Vom oströmischen Staats- und Reichsgedanken. Darmstadt, 1956. (Перепечатка изданий 1938 и 1940 гг.)

¹⁶ *Grabar A.* L'empereur dans l'art byzantin. Recherches sur l'art officiel de l'empire d'orient. P., 1936. Русский перевод: *Грабар А.* Император в византийском искусстве. М., 2000.

¹⁷ *Schramm P. E., Mütterich F.* Denkmale der deutschen Könige und Kaiser. Ein Beitrag zur Herrschergeschichte von Karl dem Großen bis Friedrich II. 768 — 1250. München, 1962 (Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München, 2).

¹⁸ *Ladner G. B.* Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters. Bde. 1–3. Città del Vaticano, 1941–1984 (Monumenti di antichità cristiana, 2 serie, 4).

даже «практической» стороной. Наверное, справедливо предположить, что стремительный рост числа публикаций по истории «образов власти» вызван (как это всегда бывало с новыми течениями в исторических исследованиях) актуализацией аналогичной тематики в *сегодняшнем* обществе. Не прошлое оставляет нам вопросы для изучения, а мы обращаемся к прошлому с вопросами, беспокоящими нас сейчас. Были времена, когда изучение власти (как в историческом плане, так и в плане, так сказать, актуальном) сводилось едва ли не всецело к исследованию ее правовых основ. В этом подходе мощная традиция юридических штудий, идущая еще из Средневековья, сливалась с новоевропейским рационализмом. Затем пришла пора увлечения выяснением институциональных и социальных оснований власти, ее имущественных интересов. Похоже, что сейчас наступает новая стадия, когда власть начинает занимать историка прежде всего своей образно-символической стороной. Это не означает, разумеется, что отныне мы обязаны определять сущность власти *только* через эту сторону, отрицая значимость всех остальных — институциональных, социальных, экономических, и иных ее аспектов. Однако, судя по всему, образно-символическая составляющая власти выходит сегодня на первый план.

По мере того как происходят существенные перемены в настоящем и наших ожиданиях от будущего, изменяется и наше понимание того, что именно являлось «главным» и в прошлом. Темы, представлявшие безусловно ведущими в эпоху индустриализации, урбанизации и аграрных реформ, не могут оставаться таковыми и в контексте современной — постиндустриальной и постаграрной — цивилизации. Если бы Карл Маркс писал сегодня, он, возможно, отнес бы к своему знаменитому «базису» общества не «обычное», материальное, производство, а производство информации и обмен ею. Ведь в стремительно идущей на наших глазах всеобъемлющей трансформации параметров современного мира всемирные информационные сети играют куда большую роль, чем индустрия — хотя Интернет, разумеется, не заменяет собой ни заводы, ни фермерские хозяйства. Рассмотрение власти как области, где постоянно происходит создание и пересоздание образных рядов, так же, как и их интенсивное взаимодействие между собой, должно оказаться при нынешнем состоянии всемирной цивилизации весьма продуктивным. Ведь готовность подчиняться или, напротив, бунтовать, править или же отказываться от власти определяется в конечном счете состоянием не экономики, а сознания. Сознание суммирует, обобщает импульсы, идущие и от экономики, и от всех иных сфер общественной жизни, чтобы представить итоговый «вывод» в виде некоего образа ситуации и возможных моделей поведения в ней. Необходимость штурмовать Бастилию летом 1789 г. не диктовалась никакими экономическими или политическими факторами. Но образ Бастилии у протонародья и ассоциации, с ним связанные, включали в себя в «сжатом» виде

такие оценки положения дел в королевстве, что побуждали сначала идти на штурм этой крепости, а затем делать из ее захвата символ наступления новой эпохи — свободы от деспотизма. Изучение образов оказывается поэтому не уходом от некоей «сути» исторических явлений (как считают, возможно, коллеги, сохранившие верность истмату в его советском и постсоветском вариантах), а приближением к их *непосредственным* причинам, с одной стороны, и погружением в мир интегрирующих (хотя и нерасчлененных) оценок действительности, с другой.

* * *

«Власть» и «образ» — два слова, обозначающие столь глубинные (хотя и столь различные по морфологии) основания человеческого бытия, что любая попытка дать им точные и исчерпывающие определения заведомо обречена на провал. Недостатка в уже предложенных определениях, собственно, и нет — напротив, их скорее избыток, что отнюдь не облегчает дело. Разбор даже скромной выборки из списка уже предложенных в литературе дефиниций слишком далеко увел бы в сторону от проблематики, интересующей историка. Понятно, что в последней инстанции дефиниции такого порядка должны формулироваться на уровне мировоззренческом, философском, возможно, богословском, однако отнюдь не на конкретно-историческом. К сожалению, методологически безукоризненные определения, сформулированные на философских высотах, нередко оказываются плохо применимыми для прагматического использования в обычных исторических исследованиях. Между тем настоящие заметки адресованы не профессиональным методологам, а коллегам, занимающимся как раз прагматическими историческими исследованиями. Поэтому, думается, пока допустимо остаться на уровне более или менее приблизительных эмпирических описаний, оставляя задачу поиска выверенных дефиниций на будущее. С такими описаниями историку проще работать, тем более, что уточнять их можно как раз по ходу исследования.

На эмпирическом уровне слово «власть» понимается обычно в одном из двух, не совпадающих между собой значений. Прежде всего, «властью» называют *обладателей* властных полномочий — в качестве ли индивидов, в качестве ли институтов, в качестве ли безликой анонимной силы. Власть — это те, *кто* управляют, *в отличие* от тех, *кем* управляют. Соответственно такое словосочетание, как «образ власти» будет скорее всего означать прежде всего образ «господ», сложившийся в сознании у подданных: власть может быть, скажем, по-матерински ласковой или по-отечески строгой, может быть тиранической и несправедливой или же мягкой и благородной — всё в глазах тех, над кем эта власть довлеет. Над созданием соответствующего образа интенсивно работают обе стороны. Власть инсценирует самое себя, старается как можно шире распроста-

нить выгодные ей представления о себе. Более того, она же не жалеет усилий и на создание собственного образа подвластных: так, при въезде средневекового князя в его город искреннюю радость должны выражать все без исключения жители, включая даже лежащих больных в приюте, из окон которого никаких торжеств вообще не видно. «Радость», «ликование» подданных — это образ, на создание которого власть обычно не жалеет сил, потому что это и ее собственный образ. В образе правления, создаваемом властями, подданные едва ли не всегда должны в той или иной форме выражать собственное счастье и глубокую искреннюю благодарность начальству, перерастающую в безоглядную любовь и готовность к самопожертвованию. Власть, тем самым, занимается стилизацией не только самой себя, но и тех, кем она правит. Однако подвластные нередко выстраивают собственные образные ряды, совпадающие или не совпадающие с теми, что им предлагаются. Именно в более или менее смутных образах они куда чаще, чем в листовках, трактатах или политических речах выражают свои надежды, опасения, иллюзии, свои ожидания от власти. Порой они поддаются «пропаганде» сверху, порой, напротив, отвергают ее, создавая такой образ правителей, который совсем не согласуется с намерениями властей. Чаще всего, однако, можно констатировать порой мирное, а порой и не очень мирное, одновременное сосуществование разных — и по модальности, и по степени разработанности — образов власти в одном и том же политическом сообществе. Интересно, что и подвластные стараются обычно выстроить образ самих себя, «адресованный» властям — например, как благочестивых, верных и сознательных подданных или же, напротив, как недовольных несправедливыми притеснениями сильных людей, хорошо знающих не только свои обязанности, но и свои права, которых поэтому не стоит раздражать сверх определенной меры.

Однако «власть» можно понимать и совсем иначе — не как *качество*, сконцентрировавшееся в одном, ограниченном от остальных, сегменте общества, а как организующее начало, пронизывающее *весь* социум сверху донизу, не как *совокупность людей* — носителей власти, а как *отношение*, складывающееся *между* людьми *по поводу* господства и подчинения. В таком реляционистском понимании власть становится *одним из аспектов* общества и (или) культуры *в целом*¹⁹. Понятно, что образы такой власти должны оказаться куда шире и разнообразнее, чем «образы власти» в предыдущем случае. Правда, непримиримого противоречия между наметившимися двумя подходами не возникает: просто «первый

¹⁹ В этой фразе приводится «или» в скобках для тех историков, кто полагает, что термин «общество» в качестве описания основного объекта исторического исследования исчерпал себя и его пора заменить на термин «культура». «И» же предназначено для тех, кто видит в «обществе» и «культуре» не синонимы, а взаимодополняющие стороны.

вариант» «образов власти» следует рассматривать как *одно из* многих возможных проявлений «варианта второго». Изучением этого проявления и занято, кажется, большинство имагологов, что вполне понятно: «образ власти в ее собственных глазах и в глазах народных» — тема, историку понятная и им относительно легко раскрываемая — лишь бы наличествовали хоть сколько-нибудь пригодные для анализа источники.

Вот и на последующих страницах речь будет идти по большей части именно о таких «образах власти», однако важно подчеркнуть, что ими заведомо нельзя ограничивать всю потестарную имагологию, ведь предмет ее интереса — образы, возникающие *по поводу любых отношений* власти (т. е. по сути дела любой детали социальной организации, предполагающей отношения подчинения и доминирования), а таких образов может быть бесконечно много и они совсем не обязательно должны находиться в прямой связи с восприятием того или иного правителя или института управления. Правда, это широкое поле изведано мало: многие из таких «неявных» образов плохо улавливаются обычными исследовательскими инструментами, и методологические трудности здесь будут встречаться, боюсь, на каждом шагу.

Как понимать «образы», о которых идет речь? Нет необходимости объяснять, что образы психо-нейрофизиологической природы (лучший пример — сновидения), возникающие в сознании человека, если вообще и доступны наблюдению и анализу, то методами соответствующих естественных дисциплин, имеющих больше отношения к медицине, чем к гуманитаристике. Однако образы сознания имеют обыкновение в той или иной форме объективироваться, находить внешнее выражение — и с такими объективациями историк вполне может работать. Кроме того, понятно, что образы, рождающиеся в индивидуальном сознании, сплошь и рядом оказываются конвенциональными, заданными индивиду «извне» общими установками культуры. Так что самое позднее на стадии осмысления этих образов (например, тех же сновидений) или, тем более, при попытке в той или иной форме поведать о них другим эти общие установки неизбежно активизируются и примут самое деятельное участие в оформлении, «со-создании» того или иного образа. Иными словами, нам снится то, что должно сниться в рамках нашей культуры, хотя, возможно, и в нашей индивидуальной трактовке²⁰. Верно, впрочем, и другое: грезы индивида могут в свою очередь оказать воздействие на общие установки культуры. Углубляться в бесконечно широкий вопрос о соотношении общего и индивидуального как в человеческой

²⁰ При обсуждении «неиндивидуального» характера сновидений полезнее, чем «архетипы» и «коллективное бессознательное» К. Юнга, могут оказаться методологические инструменты М. Хальбвакса, показавшего столь же «неиндивидуальный» характер воспоминаний отдельного человека. См., например, на русском языке: Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007.

личности, так и в культуре в целом, здесь, впрочем, нет никакой необходимости. Достаточно лишь сказать, что по данному вопросу потестарной имагологии приходится сталкиваться с теми же трудностями, что и всем остальным ветвям исторических наук о культуре.

Объективированные образы действительности (в нашем случае, потестарных отношений) являются обычно как *выражением* определенного взгляда на нее (впечатления от нее), так и *способом воздействия* на ту же самую действительность одновременно. Такие «объективированные образы», доступные взгляду историка, могут быть самого разного свойства. Здесь как раз проявляется техническое удобство русского слова «образ», подходящего для обозначения как визуальных, так и любых иных впечатлений, включая даже тактильные или обонятельные. Такую же гибкость проявляют слова *image* в английском и французском языках, но зато ближайший аналог в немецком — *Bild* — связан в первую очередь с изображением, и его перенесение, скажем, на речевые образы требует всякий раз как минимум особых оговорок. Слово «образ» представляется удобным не в последнюю очередь тем, что оно кажется шире понятий «символ» и «знак», вбирая в себя их основное содержание. Так, «образ» позволяет учитывать сферу той «слабоструктурированной» информации, которую уместно передать словом «впечатление». Такого рода информация, имеющая отношение к эмоциональной составляющей человеческой психики, по сути дела не учитывается в семиотике — для ее передачи термин «знак» не подходит вовсе, а «символ» если и может быть полезен, то лишь в узких пределах. Семиотика вскрывает смыслы, но не объясняет силы (или, напротив, слабости) их воздействия, т. е. не выясняет, какую роль сыграли эти смыслы в культуре и что представляла собой их история.

Палитра образов и сама по себе чрезвычайно широка. Выше мельком упоминались обонятельные образы — и не ради красного словца. Власть связана с определенными ароматами — эту ее черту особенно легко проследить на позднеримском и византийском материале, хотя вряд ли есть недостаток как в более ранних (ближневосточных), так и более поздних (европейских) примерах. С фигурой властителя связаны совершенно особые запахи: они окружают каждого, входящего в дворец, ими пропитана императорская грамота, их улавливают свидетели праздничной царской процессии. «Запахи власти» западноевропейского Средневековья известны историкам хуже, чем византийские, но одна их разновидность представлена в источниках весьма неплохо — это «аромат святости», исходящий от усопших праведников. (То, что святой — фигура весьма значимая в деле управления, а часто и стоящая в самом центре отношений власти внутри той или иной общины, не требует специальных доказательств.) Остатки позднеримско-византийской культуры использования запахов можно наблюдать и сегодня в церковной практике каждений, восходящей

не только к позднеантичным культам, но и к дворцовому церемониалу поздней Римской империи, когда произошло по сути дела функциональное отождествление дворца и храма (*sacrum palatium*).

Любой «положительный» образ предполагает возможность своего зеркального «отрицательного» отражения. Естественно, что наряду с «прекрасными» запахами, окутывающими святых и «хороших» правителей, описывается и «отвратительная вонь», испускавшаяся правителями злыми и недостойными и роднившая их с самыми темными силами.

Несмотря на жалобы в сравнительно недавних исторических сочинениях на «репрессированность» обоняния в европейской культуре, историк-имаголог сможет найти в источниках, думается, куда больше сведений об «ароматической составляющей» власти, нежели о тактильной. Мы можем лишь гадать, какие ощущения были некогда связаны с прикосновениями к колонне из порфира, тщательно выделанному пергаменту книги, сделанной по заказу государя, или же к бархату и шелку его одеяний — вряд ли подробные описания этих ощущений когда-либо удастся найти в источниках. (Впрочем, возможно, такое ограничение не действует в каких-либо неевропейских культурах, и, скажем, китайские или японские средневековые тексты предоставляют исследователю возможность всерьез разбирать тактильные образы прошлого.)

Куда проще обстоит дело с акустическими «образами власти» — тут источники предоставляют кое-какие сведения, пускай и не в изобилии. Так, известно, что трубачи, служившие князьям или городам, в определенных обстоятельствах должны были исполнять особые музыкальные «девизы», легко узнаваемые на расстоянии. При этом у каждого potentата была, естественно, своя мелодия. Наряду с трубами (фанфарами) в репрезентативных целях использовались и другие инструменты — лучше всего известно в этом контексте об органах (в Византии) и колоколах (по всей средневековой Европе)²¹. Порой до нас доносятся через столетия и другие «репрезентативные шумы» — например, звон бубенчиков, нашитых по нижнему краю плаща германского короля или же украшавших конскую сбрую и одежду бургундского герцога и его приближенных... Впрочем, отсутствие звуков в соответствующем контексте тоже могло создавать образ: священная тишина, царившая в святых местах и во дворцах (вспомним, что должность дворцовых распорядителей в позднеримскую и византийскую пору называлась *силенциарий*) — лучший тому пример. Бывала, правда, и тишина совершенно иного «образного качества»: при коронации

²¹ Несложная классификация шумов, сопровождавших вступление в города герцогов Бургундских (1 — колокольный звон, 2 — канонада, 3 — инструментальная музыка, 4 — пение, 5 — крики и речи), предлагается в работе: *Hurlbut J. D. The Sound of Civic Spectacle: Noise in Burgundian Ceremonial Entries // Material Culture And Medieval Drama / Ed. by Clifford Davidson. Kalamazoo, 1999. P. 127–140.*

Ричарда I в 1189 г. по какому-то недоразумению забыли устроить колокольный звон на весь день, как полагалось в таких случаях, и потом об этом упущении никак нельзя было упоминать в письмах и разговорах, потому что молчание колоколов однозначно трактовалось как скверное предзнаменование для наступающего царствования²².

Разумеется, все относительное богатство сохранившихся сведений об акустических образах не идет ни в какое сравнение с морем информации, относящейся к образам *визуальным*, так или иначе связанным с отношениями господства и подчинения вообще и с восприятием носителей власти, в частности. И по своим размерам, и по жанрам, и по типу использования, и по смысловому наполнению, и по силе воздействия, и по любым иным параметрам они отличались бесконечным разнообразием. В пределе, весь видимый универсум естественно становился образом организации человеческого сообщества. Элементы природных ландшафтов наделялись соответствующими смыслами (например, гора как место провозглашения государя), животные и птицы прямо включались в системы политической репрезентации (вспомним, например, о стремлении едва ли каждого государя обзавестись собственными львами, орлами или еще какими-нибудь «значимыми» или экзотическими существами), небесные светила иллюстрировали основы политического устройства, как в XIII или XIV вв., когда, глядя на солнце и луну, можно было уловить в них заданную еще ранее сотворения земной тверди метафору соотношения между папской властью и властью императора. Визуальные впечатления от естественной природы были вообще неисчерпаемым источником такого рода метафор. При всем многообразии «природных» образов (кавычки здесь означают, что всякое «природное» в данном случае уже прошло через осмысление культурой), исследователя ожидает не меньшее богатство визуальных форм «искусственного» происхождения. И если сотворение искусственных светил до сих пор еще не получило широкого распространения (хотя космические корабли, спутники, ракеты и проч. сыграли свою, причем немалую, роль в дискурсе власти второй половины XX в.), то организация искусственных ландшафтов (прежде всего городов, но также замков, храмов²³, монастырей, дворцов и парков) относится

²² «Res accidit ipsa die coronationis in Westmonasterio, res ut tunc uix ore dimidio dici licuit, nonnullius portentis prenuncia. Ad completorium, nouissimam horam diei, primum signum in ipsa die pulsari contigit, nec aliquo ex conuentu nec ipsis ministris ecclesie nisi post cesum id aduertentibus; cum prime, tercie, sexte, none, uesperarum, et duarum missarum sollempne seruicium sine omni signorum pulsatione fuerit celebratum». — *Cronicon Richardi Divisensis De Tempore Regis Richardi Primi — The Chronicle of Richard of Devizes of the Time of King Richard the First / Ed. John T. Appleby. L., etc., 1963. P. 4.*

²³ Храмы и святые места естественно относятся к «топографии власти», поскольку любые культы апеллируют к носителям высшего, космического порядка, частью и логическим продолжением которого является власть земных правителей.

к числу старейших, универсальных и весьма эффективных практик визуального выражения отношений власти. Чего стоят одни только золотые (точнее позолоченные, медные и пр.) крыши дворцов и храмов «Золотого Рима», отблески которых сияют в золоченых верхах русских церквей. Конечно, хватало визуальных образов и куда менее масштабных — таких как изображения на монетах, печатях, миниатюрах и т. п.

По богатству и выразительности, а также по распространенности с образами визуальными в состоянии поспорить разве что образы речевые. Такие образы могли сводиться к простому именованию, как при аккламациях, представлять в виде одиночных сравнений и метафор, но могли являться и развернутыми описаниями — например, в качестве трактатов о царской власти, о законах и долге гражданина и проч. Близкая, но все же собственная образность была свойственна юридическим текстам или исторической литературе, и уж совсем иначе строились образные ряды, например, в мифе, эпосе, сказке или иных жанрах устного творчества. Словесные образы обладали не в меньшей степени, чем визуальные, способностью к пластическим изменениям и собственной «обособленной» жизни. Каждая метафора допускала возможность своего развития: возможность, которую обычно рано или поздно использовали. Стоило представить правителя в качестве пастыря, как сразу появлялось сравнение его верных слуг со псами, стерегущими стадо, в котором попадают порой паршивые овцы, и на которое зарятся извне хищные волки. Как только государство описывается как пчелиный улей, оказывается, что в нем есть свои кандидаты и в трутни, и в рабочие пчелы, и в пчелиную матку. Представив же государство как тело, оказывается, что те или иные лица или группы, сословия, могут претендовать на роль более или менее значительных его органов. Но выясняется, что это тело бывает подвержено болезням, причем сплошь и рядом по вине каких-нибудь загнивших членов, которые надо либо терпеливо лечить, либо же решительно отсекают. Больному телу нужен врач, и это его обязанность выбирать между возможными средствами — медикаментозными, очистительными, хирургическими. Метафора «государственного здания» влечет за собой рассуждения о функциях составляющих его «фундамента», «опор», «столпов», «стен», «крыши», а то и «краеугольного камня». Если же государство — это корабль, то логика размышлений выстраивается вокруг образов «парусов», «мачт», «якоря», «руля», «кормчего», «команды» или «гребцов», «плавания» то при «штиле» через «тихие воды», а то и сквозь «бури», когда кораблю грозит «крушение», к желанной «тихой гавани». Однако «государство как машина» предстанет в совсем ином обличье, чем «государство как корабль»: исходная метафора задаст совершенно новый образ — и в целом, и в деталях. Как и любой иной образ, ему суждено будет не только пребывать в интеллигибельных мирах, но и оказывать то или иное воздействие на действительность. Сегодня уже нет нужды специально доказывать, что

представления о государстве оказывают воздействие на само государство. Речевой образ едва ли не более любого иного имеет обыкновение *создавать* предмет или *менять его сущность*, поскольку всякое «называние» как раз и влечет за собой такое изменение. Одним галилейского пророка казнили строго говоря за то, что он был публично прославлен в качестве мессии. Те, кто *приветствовал* его как мессию, тем самым в сущности и *делали* его мессией (и соответственно царем), так что в этой логике было вполне естественным обвинить пророка по сути дела в попытке государственного переворота и казнить как самозваного «царя Иудейского».

Предпринятая выше попытка различить разные виды образов носит несколько формальный характер. В действительности мы обычно имеем дело со сложными, синтетическими образами, соединяющими в себе и акустические, и визуальные, и словесные, и любые иные элементы вместе или в различных сочетаниях. Слово сплошь и рядом сопровождалось изображением или даже сценическим действием. Храм или город являются и сами по себе комплексными образными системами, тем более когда становятся сценами для перформативных акций, — прежде всего, всевозможных ритуалов, формы которых, в свою очередь, могут быть весьма различными²⁴.

Так, скажем, любые религиозные или «политические» процессии предъявляют, визуализируют и пропагандируют определенные идеи (преклонения перед божеством или земным правителем, послушания ему, моления о заступничестве и снисхождении и т. п.), но помимо этого, многие из них представляли собой своеобразный «социологический срез» соответствующего сообщества, его «анатомию». В таких шествиях отводились определенные места для божественных (или просто святых) покровителей общины, для магистратов, жречества (или духовенства), членов всевозможных городских корпораций, жителей разных кварталов, для женщин, детей, немощных и др. Община являлась во всей своей структурированности, во всей определенности пронизывавших ее социальных связей (как их тогда себе представляли, разумеется), отношений господства и подчинения. Если же эта процессия направлялась навстречу государю, она нередко включала такие элементы, которые выражали ожидания и надежды, связывавшиеся общиной с его персоной²⁵...

²⁴ О многообразии комплексных «образов власти» можно получить представление на основании хотя бы немногих примеров, вошедших в сборник: *Образы власти на Западе, в Византии и на Руси: Средние века. Новое время* / Под ред. М. А. Бойцова и О. Г. Эксле. М., 2008. Больше материала удалось включить в немецкий вариант этого издания: *Bilder der Macht in Mittelalter und Neuzeit. Byzanz — Okzident — Rußland* / Hrsg. von Otto Gerhard Oexle und Michail A. Bojcov. Göttingen, 2007 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 226).

²⁵ В качестве введения в эту проблематику см., например: *Бойцов М. А. Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой Европе*. М., 2009. С. 25–45.

Ритуалы — тема бескрайняя и столь интенсивно разрабатываемая в современной литературе, что здесь будет достаточно лишь обозначить ее, указав на ритуал как на один из самых сложных видов потестарных образов.

* * *

Хотя предложенный выше список видов образов власти и далек от полноты, пора уже перейти от их перечисления к обозначению хотя бы некоторых исследовательских задач, связанных с изучением таких образов. Самая очевидная, но и самая общая, состоит в прослеживании возникновения, развития, взаимодействия, смены и исчезновения²⁶ образов власти. Один из основных вопросов относится здесь (как и во многих других отраслях исторического знания) к путям возникновения нового и сохранения преемственности со старым. В чем состоят элементы динамики, приводящие к последующим изменениям, и каким образом вроде бы при тщательном соблюдении традиции она в конечном счете либо решительно трансформируется, либо же вовсе исчезает, уступая место новой, совершенно иной. Этнологи много писали о рождении (или не-рождении) инноваций в традиционных обществах, однако особенность потестарной имагологии состоит не в последнюю очередь в том, что она имеет дело с письменными культурами, знающими понятие нормативного текста, канона и, соответственно, имеющими лучшие возможности фиксировать и закреплять любые традиции.

В том, что касается проблематики возникновения, развития и смены определенных явлений, потестарная имагология отличается от иных отраслей исторического знания только предметом своего интереса, но не задачами и подходами. Тем не менее ее взгляд, думается, позволяет не только лучше рассмотреть некую *область* прошлого, остававшуюся ранее по большей части в тени, но и в конце концов увидеть в новом свете *все* прошлое. Иными словами, потестарная имагология предоставляет возможность описать заново то, что порой еще называют «историческим процессом», представить одно новое его сквозное измерение. Так, скажем, «возникновение государства» будет выглядеть как радикальная смена системы образов, «организующих» отношения власти, т. е. вполне в стиле «имагологического» рассказа Геродота о судьбе Деиоке, которого

²⁶ Одна из древнейших форм самопредъявления власти умерла почти что на наших глазах: еще в XIX в. в европейских монархиях практиковалась церемония торжественного въезда государя в его город. Сегодня подобные действия если изредка кое-где все еще проводятся, то представляют собой уже не средство интеграции общества, а род музейного экспоната или просто развлечения для зевак и туристов. Необходимость констатировать кончину той или иной символической формы также входит в круг профессиональных задач историка-имаголога.

мидяне избрали царем. «Тогда Деиок повелел построить дворец, подобающий его царскому достоинству, и дать ему телохранителей... По окончании строительства Деиок первым делом ввел вот какой порядок: никто не должен иметь непосредственного доступа к царю, но по всем делам сноситься с ним через слуг, лицезреть же самого царя [не дозволяется] никому. Кроме того, для всех без исключения считалось непристойным смеяться или плевать в присутствии царя»²⁷. «Переломность» перехода к государственности передана здесь у Геродота не в меньшей степени, чем в нынешнем учебнике обществознания, но совершенно иными средствами и в стилистике, не увеличивающей дистанцию между «нами» и «людьми прошлого», но напротив, приближающей нас к пониманию особенностей их сознания.

Здесь уместно отметить, что широкие перспективы перед исторической имагологией открылись по-настоящему лишь с тех пор, как современное историческое знание всерьез занялось рефлексией над своими методами и возможностями и пересмотром целей собственной деятельности. В той истории, которая концентрировалась на обнаружении «закономерностей», полезных для научно организованного социального прогресса, ей вряд ли нашлось бы место. Зато в куда менее амбициозной и самоуверенной нынешней истории, осознающей условность собственных построений и ориентированной на те или иные формы диалога с прошлым, ей самое место. Более того, она стала отлично совпадать и с «морфологическим устройством» исторического знания, как только это последнее стало пониматься в качестве совокупности не столько строго научных реконструкций, сколько сменяющих друг друга *видений* или *образов* прошлого, обусловленных индивидуальным сознанием историка, с одной стороны, и культурой, к которой он принадлежит, с другой.

Прослеживание «жизненной динамики» различных образов власти и их систем — задача увлекательная, но неисчерпаемая. В этом безграничном пространстве неизбежно будут проявляться те или иные проблемные узловые пункты, привлекающие к себе надолго или лишь на краткое время внимание исследователей. Попробую обозначить первые из них, пришедшие на ум, не претендуя ни на какую систематичность и даже последовательность — выборка носит вполне случайный характер.

Тема развития, эволюции и смены образов власти естественно приводит к необходимости обсуждать вопрос о континуитете и прерывистости в развитии политической культуры определенного региона, а также о том, где возникают новые представления о власти (выраженные, например, в инсигниях, ритуалах или теориях), из каких центров и по каким направлениям они распространяются, каким «случайностям» подвергаются

²⁷ Геродот. I, 98–99. (Перевод Г. А. Стратановского).

по дороге, как усваиваются (или не усваиваются, а то и отторгаются) на различных «перифериях», какому переосмыслению подвергаются как вдали от «центра», так со временем и в самом «центре» и т. д.²⁸ Интересно проводить «районирование» тех или иных «символических форм» (Э. Кассирер) — границы их распространения, вероятно, в одних случаях совпадут с хорошо нам известными цивилизационными рубежами, а в других, напротив, будут перекрывать такие рубежи, выявляя неочевидные для исследователя культурные общности.

Образы власти имеют обыкновение распространяться не только «по горизонтали» — от одного места к другому, но и «по вертикали», постепенно спускаясь с вершины на более низкие уровни иерархии. Оставляя в стороне случаи откровенной узурпации «низшими» образа (или только элементов образа) «высших», коснемся лишь практики вполне легального расширения круга имеющих право на особые инсигнии. Обычно она предполагает наличие у государя некоего «ресурса» символических форм, которым он распоряжается ради укрепления своей власти. Раздача символов — точно так же, как раздача любых материальных ценностей — одно из важнейших средств удержания власти и обеспечения лояльности в слабо институционализированном обществе. Скандинавский конунг, раздаривающий на пиру серебряные кольца дружинникам, действует по совершенно той же модели, что и василевс, раздающий, по свидетельству Лиутпранда Кремонского (ок. 920–972), по случаю церковного праздника невероятные сокровища своим приближенным. Власть заинтересована в создании не только материальных, но и символических ресурсов, из которых можно кого-то поощрять. Мы знаем, например, сколь последовательно и изобретательно применялась такая практика римскими папами. Сначала это была передача паллия — на первых порах бывшего на Западе частью одного лишь папского облачения. Папы начали передавать паллии (изготавливавшиеся только в Риме и получавшие свои особые качества от соприкосновения с гробницей апостола Петра) сначала лишь отдель-

²⁸ Подробно о центре и перифериях в данном контексте см.: *Бойцов М. А.* Символический мимесис — в средневековье, но не только // *Казус. Индивидуальное и уникальное в истории* — 2004. Вып. 6. М., 2005. С. 355–396. Несколько подробнее немецкая версия той же статьи: *Bojcov M. A.* Symbolische Mimesis — nicht nur im Mittelalter // *Zeichen — Rituale — Werte* / Hrsg. von Gerd Althoff unter Mitarbeit von Christiane Witthöft. Münster, 2004 (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme. Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 3). S. 225–257. Белое упоминание о возможности распространения ритуала из центров на периферию см. также в: *Cannadine D.* Introduction: Divine Rites of Kings // *Rituals of Royalty. Power and Ceremonial in Traditional Societies* / Ed. by David Cannadine and Simon Price. Cambridge; N. Y., etc., 1987. P. 1–19, здесь P. 16. («...for the very modern period, it seems much more likely that the ceremonials are invented in the centre, and are then transmitted outwards, ... rather than the other way».)

ным архиепископам, позже всем, а со временем и каждому епископу. Из привилегий папы Льва IX (1049–1054) мы узнаем о раздаче им «римских митр» в качестве особого отличия некоторым епископам и аббатам — с явной целью прочнее привязать данных церковных иерархов к папскому престолу²⁹. Здесь мы имеем дело с вообще самым первым упоминанием о церковных митрах в источниках — тех самых митрах, которые сегодня являются частью литургического облачения едва ли не каждого католического иерарха. В XIII в. (якобы на I Лионском соборе 1245 г.) папы делятся с ближайшим окружением своим (изначально императорским) пурпуром — отныне кардиналы имеют право носить шапки этого цвета. Однако со временем пурпурным становится все облачение кардиналов, поскольку папы продолжали «уступать» ближайшему кругу свои привилегии, делиться не чем-нибудь, а частями собственного образа.

От ареалов распространения и векторов перемещений, узурпаций и уступок можно перейти к одной куда более специальной стороне «топологии» образов власти: характере их привязки к тем или иным «топосам» — будь то пространственным, будь то смысловым. С пространственными топосами дело обстоит более или менее ясно: так, средневековый западный государь, чтобы стать императором, должен короноваться в Риме и только в Риме. Его статус «привязан» к определенному месту — «Вечному городу», а в нем прежде всего к базилике св. Петра. Эта ситуация отнюдь не сама собой разумелась — она сложилась постепенно в ходе взаимодействия различных сил. Мы знаем и противоположные концепции построения потестарных образов, когда они оказываются свободны от каких бы то ни было пространственных ограничений. Так, скажем, коронация папы Римского, разумеется, лучше всего смотрится на ступенях лестницы перед той же самой базиликой св. Петра, но может проводиться и в любом ином месте христианского мира, поскольку, «где папа — там и Рим». Папы здесь не только приспособили для своих нужд давнюю «императорскую» формулу, цитировавшуюся еще Геродианом³⁰, но и воспроизвели практику провозглашения императора как в Ветхом Риме, так и в Риме Новом³¹.

²⁹ *Klewitz H.-W.* Die Krönung des Papstes // *ZRG. Bd. 61. KA. Bd. 30.* 1940. S. 96–130, здесь S. 113.

³⁰ Советник Помпеян уговаривает затосковавшего по римским удовольствиям молодого Коммода не возвращаться с берегов Истра в столицу: «Рим там, где находится государь» (I,6,5). Об истории формулы «где император, там и Рим» см.: *Mayer E.* Rom ist dort wo der Kaiser ist. Untersuchungen zu den Staatsdenkmälern des dezentralisierten Reiches von Diocletian bis Theodosius II. Mainz, 2002. S. 22–27.

³¹ В поздней Римской империи можно говорить не о «топографической», а о «социальной» привязке инаугурационного ритуала, поскольку императора обычно провозглашало войско. В Византии сохранялось сходное условие, хотя оно и было расширено: нового императора теоретически должны были провозглашать

Понятно, что в этих двух примерах с коронациями мы имеем дело с двумя весьма различными модальностями оформления одного и того же по своей сути инаугурационного ритуала. Однако подобные различия в модальностях видны и на десятках иных примеров, когда некое «качество» (скажем, способность править) либо намертво связывалось с каким-либо «топосом», либо же оставалось от него независимым, либо же (что чаще всего) оказывалось где-то между этими полюсами. Таким «топосом» может быть не только пространственное «место», но и предмет (например, корона), идеологема («национальная идея», «демократия», «самодержавие») или какое-либо иное условие (происхождение от определенного предка). Рисунок топологических связей у каждой образной системы оказывается своим — и по их направлениям, и по их модальностям, что открывает широкое поле для исследовательских сопоставлений.

Сюда же можно отнести вопрос о «сценах», на которых осуществляется предъявление тех или иных образов. Если современное общество полностью покрыто информационными сетями, позволяющими постоянно и повсеместно в равном объеме транслировать те или иные образные ряды, то общества, не знавшие радио и телевидения, отличались от нынешнего резкой гетерогенностью в способности воспринимать и производить образы, связанные со властью, как, впрочем, и всякие иные. Имелись пространства и ситуации, в которых «символический обмен» радикально интенсифицировался, но точно так же имелись и другие, в которых он почти прекращался. Понятно, что поездка государя инкогнито «оформляется» совершенно иначе, чем его же торжественная встреча. Области интенсивного выстраивания образов власти (а также «обмена» ими) можно для краткости называть сценами. Например, для позднеримского государя такими более или менее постоянными сценами были дворец, военный лагерь и город (или определенная его часть). Каждой из «сцен» соответствовал свой набор средств, создающих образ власти. Так, скажем, в военном лагере IV в. мы встречаем (благодаря сообщениям Аммиана Марцеллина) набор весьма специфических инаугурационных ритуалов: коронация нового государя не венцом, а торквесом («шейной гривной») какого-нибудь заслуженного воина, облачение его в пурпурное одеяние, наспех сшитое из ткани, сорванной с армейских знамен, поднятие на щит, громкая клят-

«сенат, народ и войско». Место, где проводилось аккламирование, роли не играло. В 1068 г. восставшие в Киеве местные жители провозглашают нового князя тоже не в каком-то особом месте, а просто «прославиша и средь двора княжа». Если за этим и последовало, например, торжественное богослужение с выполнением каких-либо инаугурационных обрядов, оно не привлекло внимание летописца, поскольку «главным» для него осталось славословие на княжеском подворье. Похоже, в Киеве играли по константинопольским правилам, что, впрочем, большого удивления у историка вызвать не может.

ва солдат в верности, при которой каждый держит меч приставленным к своему горлу...

Дворец вместе с примыкающим к нему (а по сути дела являющимся его частью) цирком (ипподромом) представляет собой совсем иную «сцену», где создаются иные образы при помощи иных выразительных средств. Такие сцены могут быть более или менее постоянными или же, напротив, характерными лишь для определенных периодов (так, «лагерные церемонии», естественно, перестают практиковаться, когда государи десятилетиями не покидают столицу, избегая личного участия в войнах), а могут быть и эфемерными, созданными лишь для одного-единственного «представления» — как, например, роскошные декорации при вступлении правителя в город.

Набор «сцен», на которых предъясняются и взаимодействуют между собой разные образы, относится к базовым элементам морфологического устройства той или иной системы власти. Естественно, что и другие морфологические особенности различных образных систем представляют собой поле для имагологических исследований. Так, скажем, европейский материал подводит к постановке вопроса о соотношении *иконических* и *неиконических* образов между собой, о преобладании в культуре тех или других из них, что, вероятно, как-то связано с той или иной степенью персонификации или, напротив, деперсонификации власти. Под «иконическими» я понимаю изображения носителей власти, более или менее претендующие на передачу *индивидуального облика* правителя, но вместе с тем (или же в первую очередь) его особого *качества властителя*³². В основе иконических образов лежит древняя идея о присутствии изображаемого в его изображении — идея, обсуждаемая историками прежде всего в связи со спорами между иконоборцами и иконопочитателями в Византии по поводу священных образов. Однако понятно, что те страсти по иконам, во-первых, были частным (хотя и весьма выразительным) случаем более общего конфликта между разными взглядами на функцию изображения в культуре, а во-вторых, относились они к практике изображения земных правителей не в меньшей степени, чем к правилам изображения (или не-изображения) правителей небесных. Римское политическое

³² При этом о «индивидуальности» портрета есть качество не самодовлеющее, а производное от власти, которой наделен данный индивид. *Numen* — это сугубо индивидуальное качество римского императора, отражение его особых персональных качеств, которые должны проявляться и в его внешнем облике. Поэтому передача внешнего подобия оказывается вторичной по отношению к передаче этой «сущностной индивидуальности». Уже Август велел изображать себя не столько аутентично, сколько в качестве выражения определенных представлений о власти. За следующие три века официальное искусство ушло так далеко по указанному пути, что Юлиану Отступнику пришлось, наоборот, спрашивать у художника, почему он не рисует императора таким, каков он есть.

воображение было весьма иконическим — государство было наполнено образами императоров, выполненными в разных техниках и по-разному используемых. Это и статуи, и живописные портреты, и маленькие бюстики, и изображения на одежде, знаменах, покрывалах или, скажем, воинских щитах (как на известной плакетке из слоновой кости с «портретом» Стилихона), и огромные полотнища, вроде того тридцатиметрового, с которого на римлян взирал лик императора Нерона. Они стояли и висели на площадях, в цирках, общественных зданиях, в храмах, у алтарей домашних святилищ. Перед ними совершали проскинезис, им молились и приносили клятвы, а порой даже жертвы, к ним обращались с просьбами, их окуривали, обставляли факелами и свечами³³...

Западноевропейское Средневековье представляет собой, напротив, эпоху неиконическую: в политической сфере, как ни странно, приходится констатировать неофициальную победу если и не самого иконоборчества, то сознания, ему родственного. *Изображение* правителя утрачивает свою социально-организующую роль³⁴, и государь лишается важнейшего средства имитировать его личное присутствие там, где он не может быть физически — возникший тем самым пробел в репрезентации власти должен теперь заполняться иными, чем ранее, средствами. Важное место среди них отводилось, например, наделению лица, «представлявшего» своего повелителя, предметами, которыми пользовался «представляемый». Так, Вильгельм Завоеватель, захватив власть в Англии, раздавал своим людям части собственного вооружения в качестве своего рода «мандатов», удостоверяющих, что эти посланцы осуществляют волю короля. С XII в. по-

³³ См., например, диптих с портретом императора, поставленный между двумя парами горящих свечей на столик, напоминающий алтарь, в числе инсигний префекта Иллирика. Он изображен в административном трактате рубежа IV и V в., сохранившемся в копиях XV в. Издание: *Notitia dignitatum: accedunt notitia urbis Constantinopolitanae et laterculi provinciarum* / Ed. Otto Seeck. Berlin, 1876. Об инсигниях в этом трактате см. *Berger P. C. The Insignia of the Notitia Dignitatum. A Contribution to the Study of Late Antique Illustrated Manuscripts.* N. Y.; L., 1981, на русском языке: *Ткаченко А. А. «Notitia dignitatum» как источник по позднеантичной эмблематике* // *Signum.* Вып. 2. 2000. С. 33–40. Об отношении к императорскому портрету как к личности самого императора см. прежде всего: *Kruse H. Studien zur offiziellen Geltung des römischen Kaiserbildes im römischen Reiche.* Paderborn, 1934 (*Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums*, 19/3).

³⁴ Пожалуй, было предпринято всего несколько попыток реанимировать эту функцию. Не может быть случайным совпадением, что все они относятся к *итальянским* государям — Фридриху II, Бонифацию VIII, Анжуйской династии в Сицилийском королевстве — античные реминисценции всякий раз играли свою роль. Все эти попытки были весьма слабы — по крайней мере такое впечатление складывается на основании сохранившихся памятников. Однако в других регионах Европы, очевидно, не предпринималось даже столь скромных усилий.

является новое, намного более абстрактное, средство «представлять» государя — его геральдическая эмблема. Успех геральдики можно объяснить как раз потребностью в каких-нибудь способах компенсировать отсутствие изображений носителей власти, с одной стороны, и тем, что она легла на уже подготовленную культуру символического восприятия, ориентированную не столько на *изображения* правителя, сколько на те или иные его *обозначения*, — с другой³⁵.

Речь здесь идет, разумеется, не вообще о всяких изображениях государей — таковые встречались в изобилии и в Средние века — на миниатюрах и фресках, в пластике и декоративном искусстве — а об изображениях, выполняющих *определенную функцию*. Поясню разницу на примере. Статуя императора в классическую пору изображала именно данного императора³⁶ и уже через посредство его индивидуальности внушала мысль об императорской власти вообще, довлеющей над каждым подданным. Когда статуя ставилась на частные средства или на деньги общины, она все равно выражала подчиненность и привязанность к власти государя (пускай и идущую из самой глубины любящих сердец подданных империи). Но когда жители Вормса установили на Рейнских воротах — очевидно, главном тогда въезде в город — колоссальную статую императора Генриха IV с весьма «античной» надписью *DIVO HENRICO III ROM[ANORUM] REGI AVG[VSTO] VANGIONES IMMORTALES LAVDES DEBERE NULLO AEO NEGAVNT*³⁷, они имели в виду нечто совершенно иное. Для них статуя и надпись служили напоминанием о помощи, оказанной ими в 1073 г. вопреки воле епископа Вормсского императору, оказавшемуся тогда в крайне тяжелом положении, и о привилегиях, полученных позже горожанами от испытывавшего к ним благодарность государя. По своей политической сути статуя представляла собой «декларацию независимости» от епископа Вормсского, а вовсе не выражение подчиненности империи. То же самое вормсцы имели в виду и намного позже, в 1493 г., когда при очередном обострении отношений со своим епископом нарисовали на стене *Neuer Münze* огромную фигуру правившего тогда

³⁵ Геральдика — самое известное, но отнюдь не единственное средство выражения образных «амбиций власти». Средств таких и в Средние века было множество — изображениями на печатях начиная и, скажем, генеалогиями, надгробиями или даже заупокойными мессами заканчивая.

³⁶ Справедливо и в случаях с весьма обобщенными поздними изображениями, вроде венецианской или луврской «Тетрархии», и даже тогда, когда со сменой государя меняли лишь идентификацию статуи, оставляя прежнее изображение.

³⁷ Статуя не сохранилась: есть лишь несколько довольно туманных ее изображений — *Fuchs R. Sacri Romani imperii fidelis filia — Worms und das Reichsoberhaupt* // *Ex ipsis Rerum Documentis. Beiträge zur Mediävistik. Festschrift für Harald Zimmermann* / Hrsg. von Klaus Herbers et al. Sigmaringen, 1991. S. 185–193, здесь S. 187.

императора Фридриха III на троне и со всеми инсигниями. Тогда дело было опять-таки не в выражении верноподданнических чувств изображенному государю, не в интеграции отдельной общины в имперское политическое сообщество, а скорее в обратном. Изображение венценосного Габсбурга должно было послужить укреплению партикуляризма общины, ее независимости от соседних князей, а в конечном счете и от императора тоже. Не случайно по соседству с фигурой Фридриха поместили торжественную надпись, посвященную городской свободе³⁸. Точно так же и другие известные средневековые изображения императоров в немецких городах (Ахен, Нюрнберг и др.) не столько устанавливали символическую связь между общиной и государем, сколько повышали престиж городской общины не только в ее собственных глазах, но и в глазах ее соседей, «нейтрализуя» претензии самых опасных из них на власть над городом.

Переход от римской «иконичности» к постримской «неиконичности» явно связан с христианизацией империи, хотя детали этого процесса недостаточно прояснены. Склонность к персонификации власти никуда не могла деться, однако должно было измениться понимание того, в руках какой именно «персоны» эта власть сосредоточена. Индивид, «действительно» осуществляющий власть, был поднят на уровень намного выше уровня императора, чьи индивидуальные черты представлялись столь значимыми еще совсем недавно. Теперь же правит не император, а Бог, всего лишь *представленный* императором. Если в римскую пору в силу ряда историко-культурных оснований императору куда легче было провозгласить себя богом, нежели царем (императоры действительно «дорастали» до богов, становились их собеседниками, детьми, спутниками, побратимами, воплощениями, вступали с ними порой даже брачные отношения, как Гелиогобал, или стремились к тому же, как Калигула)³⁹, то с победой христианства «расстояние», отделяющее смертного от Единого Бога, стало несравненно больше, чем в классической античности. Поэтому единственной властвующей «персоной», заслуживающей детального изображения, остается лишь Иисус Христос, но именно его образ жестко регламентирован.

Частичная «реиконизация» облика власти происходит в европейских монархиях только в Новое время и находит, пожалуй, свое лучшее выражение в двух видах официальных портретов — в больших парадных, предназначавшихся для дворцовых интерьеров, и в драгоценных миниатюрах, даровавшихся за особые заслуги и ценившихся выше орденов.

³⁸ В ней, в частности, говорилось, что хотя вормсцы и сражались некогда против Юлия Цезаря, зато нынешнему цезарю они хранят вечную верность: QUAMOBREM VANGINONES, QUONDAM CVM IVLIO CONFLICTATI, IAM TIBI, CAESAR, PERPETVA FIDE CONHAERENT. — Ibid. S. 190–191.

³⁹ О том, что «сфера божественного в античном сознании начиналась несопоставимо ниже, нежели в нашем», см., например: Alföldi A. Op. cit. S. 30.

Революции и демократические сдвиги постепенно привели на протяжении XIX–XX вв. к почти полной деиконизации облика власти даже в сохранившихся монархиях, хотя телевидение и открыло новые технические возможности обращения с изображениями.

О развитии телевизионных «образов власти», о степени их преемственности по отношению к более ранним формам визуализации власти или же, напротив, о мере их специфичности стоит говорить отдельно. Однако истонные формы организации визуальных образов тоже прекрасно существуют в современном обществе и даже развиваются далее. Так, давно уже заслуживают самостоятельного имагологического исследования «переливы иконичности» в позднесоветской и постсоветской политической культуре. Советская власть, как известно, продолжила весьма развитую иконическую традицию дореволюционной России, в которой царские портреты встречались повсеместно, служа одной из «образных скреп» империи. Новая власть на протяжении 20-х годов активно экспериментировала с иконичностью и пыталась преобразовать унаследованные старорежимные традиции, но в 30-е годы по сути дела вернулась к их исходным основаниям. Вплоть до 80-х годов XX в. устойчиво сохранялись два вида официального портрета первого лица государства: один, колоссальный и яркий, предназначался для улиц, площадей, демонстраций (нередко его сопровождали меньшие по размеру портреты «соратников»), другой, сравнительно небольшой, аскетичный по иконографии и очень сдержанный в цветовом решении — для кабинетов государственных чиновников⁴⁰. О теснейшей связи между изображением и властью в советской системе свидетельствует легенда об одном чутком к советским традициям западном корреспонденте, которому удалось первым информировать свою газету (а вместе с ней и мировую общественность) о снятии Н. С. Хрущева (в другом, более вероятном, варианте — Н. В. Подгорного). Проходя по улице Горького, он якобы увидел, как со здания Центрального телеграфа снимают соответствующий портрет, и сразу же бросился связываться с редакцией, не дожидаясь официального сообщения о сенсационных кадровых перестановках в советском руководстве.

Перестройка принесла перемены и в иконической культуре. Во-первых, начисто исчез «колоссальный портрет», во-вторых, родимое пятно М. С. Горбачева стало сущим испытанием для создателей иконографии «малого», кабинетного, портрета (как и для фоторедакторов газет

⁴⁰ В оформлении казенными портретами кабинетов позднесоветской поры были свои нюансы. Портреты Генерального секретаря висели прежде всего у партийных и правительственных чиновников, тогда как, например, школьные классы или даже игровые комнаты в детских садах украшались портретами В. И. Ленина (их, впрочем, можно было встретить повсеместно). Для оформления кабинетов сотрудников правоохранительных органов действовал особый стандарт: там было принято вешать портреты Ф. Э. Дзержинского.

и журналов). Но самое позднее при Б. Н. Ельцине кабинетный портрет как жанр политического искусства и как выражение чиновничьей лояльности совершенно исчез. Его сменила деперсонифицированная символика причастности к государственной власти, заимствованная, судя по всему, прежде всего из Америки. Теперь за креслом высокопоставленного чиновника можно было видеть лишь красиво свернутый (или, напротив, красиво развернутый) государственный флаг⁴¹.

За развитием постсоветского иконизма хорошо позволяли следить ежедневные телерепортажи из кабинетов чиновников самых разных рангов. И этот источник показывает, что введенная Б. Н. Ельциным неиконическая фаза длилась совсем недолго. До отставки первого президента России было еще далеко, когда у чиновников вновь начали появляться изображения Первого лица — правда, совершенно иного типа, чем ранее. Они лишились прежней формальности, официозности и колористической блеклости, были очень невелики по размерам, раскованы по иконографии, богаты цветовыми оттенками, да к тому же обычно украшены собственноручным автографом президента. Портрет не висел больше на стене за спиной у чиновника над его головой (как в былые времена), невидимый ему, но ясно «объясняющий» входящему, в каком политическом контексте следует видеть фигуру хозяина кабинета. Теперь портретик стоял либо сбоку на книжной полке, либо прямо на столе, рядом с похожими по формату фотографиями членов семьи. Как и они, он был повернут лицом к хозяину кабинета, но в отличие от них, чуть сдвинут, так что ненароком все же должен был обязательно попасться на глаза посетителю. Если гость (например, тележурналист) не мог устоять перед искушением спросить о смысле портретика (при советском варианте иконизма такой вопрос был бы немислим), в ответ он слышал целую историю (рассказывавшуюся подробно и с видимым удовольствием) о том, как Борис Николаевич при каких-нибудь особых обстоятельствах подарил свою фотографию ее нынешнему счастливому обладателю, душе которого этот образ теперь исключительно дорог.

Такая система очеловечивания или даже интимизации формально-бюрократических отношений была в семантическом плане весьма сложной. «Маленький портрет» может прочитываться и как выражение глубокой

⁴¹ Герб, напротив, выставлялся сравнительно редко, что было связано, вероятно, с настроженным отношением весьма многих к двуглавному орлу и сомнениями в том, будет ли эта эмблема (введенная тогда лишь президентским указом) когда-либо утверждена в должном порядке. Позже к орлу привыкли, и его стали использовать намного чаще, особенно когда хотели подчеркнуть особую государственную значимость происходящего. Так, когда в 2008 г. Д. А. Медведев зачитывал перед телекамерой заявление о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, постановщики явно хотели придать гербу особенно важное значение, поместив его строго на головой президента.

человеческой привязанности к президенту, выходящей далеко за рамки обычного служебного подчинения, и, так сказать, во встречном направлении, как знак особой милости президента по отношению к данному счастливому обладателю фотографии, и как своего рода бахвальство чиновника тем, что он оказался в фаворе, и даже как намек посетителю на способность хозяина кабинета добиться очень и очень многого — в силу своих особо доверительных отношений с Первым лицом. Фотокарточка президента оказывалась тем самым удивительно близка по функциям к какому-нибудь жалованному миниатюрному портрету, сияющему бриллиантами на камзоле екатерининского вельможи. Однако возвращение от приемов века фаворитов к традициям следующего за ним века имперской бюрократии не заставило себя ждать.

В постельцинскую пору кабинетный портрет президента покинул импровизированный семейный алтарь на рабочем месте, решительно увеличившись в размерах и снова заняв место над спинкой кресла — сначала, похоже, в кабинетах губернаторского ранга. Правда, возврат оказался неполным: «новые» официальные портреты были на первых порах далеки от застылости позднесоветских прототипов: они сильно различались и по форматам, и по иконографии, и по цветовым решениям, продолжая в этом отношении «неформальную» ельцинскую традицию. Чуть позже портреты президента стали мелькать и в репортажах из кабинетов начальников среднего ранга и даже совсем мелкого — вроде главы какого-нибудь домоуправления. Именно на нижних уровнях вновь началась стандартизация: бывшее богатство форм сузилось до нескольких друг на друга очень похожих иконографических схем. Причина тому угадывается легко: мелкие служащие не могли себе позволить с губернаторско-сенаторской широтой заказывать индивидуальные портреты профессиональным художникам. Кроме того, обращение к небольшому набору централизованно одобренных иконографических форм заведомо гарантировало от использования композиций, возможно чреватых риском. Любопытно, что распространилась мода вешать такие практически одинаковые по размерам и пропорциям официальные портреты президента (обычно на фоне государственного триколора) не за спиной хозяев, а на одной из боковых стен. Не вполне ясно, что обусловило популярность такого, несколько странного, расположения — скорее всего стремление избежать откровенной казенщины советского типа и сохранить «ельцинскую» идею свободного выбора и личного расположения к изображенному лицу. Тем не менее само наличие портретов в сколько-нибудь ответственных кабинетах стало, похоже, снова делом сугубо обязательным (хоть наверняка нигде не регламентированным), не требующим теперь никаких застенчивых намеков на особую душевную близость хозяина портрета к прототипу. Портрет Первого лица вернулся к роли хотя де-юре и не существующего, но де-факто

обязательного символа государства. В. В. Путин и сам подтвердил именно такую трактовку своих изображений: «Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы государственные чиновники имели в своих кабинетах портрет своего руководителя. Не вижу в этом никакого чинопочитания, ни пресмыкания. Это какой-то элемент проявления государственности, так же, как и флаг, герб», — сказал он однажды, отвечая на вопрос журналиста⁴². Формально-юридическая разница между флагом и гимном, с одной стороны, и портретами президента, с другой, однако, очевидна: первые зафиксированы в качестве знаков власти в конституции и других законах, а вторые в этом качестве не зафиксированы нигде.

После избрания президентом Д. А. Медведева возникла совсем необычная «портретная ситуация», обсуждать которую пресса начала задолго до выборов. (Так, с упорством, заслуживавшим лучшего применения, то и дело задавался вопрос, повесит ли премьер-министр В. В. Путин портрет президента Д. А. Медведева в своем кабинете.) В реальности же, судя по телевизионным репортажам, произошло удвоение портретов: изображения президента и премьера стали появляться рядом. Один известный сибирский губернатор предпочел, правда, другое решение: портрет один, но изображены на нем две фигуры, причем умело выстроенная композиция не позволяет определить, кому из двух принадлежит старшинство. Похожая, столь же тонко сбалансированная, иконографическая схема начинает использоваться и в массово тиражируемых портретах.

Особое внимание исследователей должна была бы привлечь весьма своеобразная традиция «неофициальных портретов», приобретаемых и вывешиваемых населением самостоятельно. «Частными» портретами В. В. Путина обзаводились и обзаводятся люди, далекие от власти, но испытывающие к этому человеку личную и политическую симпатию. В таком качестве портреты Б. Н. Ельцина если и использовались, то весьма недолго. (В пору оппозиционности и «гонимости» Ельцина его изображения часто встречались на митингах и демонстрациях — как средство политической борьбы, для «домашнего» выражения любви и почтения их, кажется, не применяли.) Как ни странно, неофициальные «народные» портреты были в ходу в позднесоветское время (когда публичные проявления неофициальных симпатий отнюдь не приветствовались) — как известно, на ветровых стеклах грузовиков можно было порой увидеть маленькую черно-белую фотографию И. В. Сталина, приобретенную с рук через какие-то темные каналы. Такие почти рукодельные портреты Сталина служили, судя по всему, выражением неодобрения действующей власти. Согласно сообщениям прессы, похожие портретики стали вновь появляться и в последние годы, притом, похоже, в аналогичной функции: образ Сталина в таких случаях ассоциируется с идеей «наве-

⁴² Из ответов на вопросы журналистов 14 февраля 2008 г.

дения подлинного порядка», который действующие власти якобы никак не могут обеспечить. Поскольку о «частных» портретах Д. А. Медведева пока что ничего не известно, заочная полемика между сравнительно небольшими по численности группами граждан, выражающих свои симпатии «иконическими» средствами, идет, вероятно, с помощью изображений В. В. Путина и И. С. Сталина. Отсутствие соответствующей статистики не позволяет определить, как именно меняется соотношение сил на этом поле.

Тема иконичности в политической культуре была выше лишь намечена — без всякой попытки всерьез ее разработать или же определить характер ее связей с другими аспектами политической культуры. Однако и уже сказанное должно, думается, убедить, что специалистов по потестарной имагологии подобные сюжеты должны весьма занимать.

В тесной связи с общим вопросом о соотношении иконических и неиконических образов власти и ролью каждой из этих групп образов в системе отношений власти находится и другой, не меньше заслуживающий пристального изучения — об образных системах, обеспечивающих «присутствие власти» там, где физическое наличие ее носителей невозможно. В нынешнем обществе власть «присутствует» постоянно и повсеместно — благодаря не только государственным органам (т. е. прежде всего чиновничеству, армии, полиции, почте), но, главное, средствам массовой коммуникации. Однако доиндустриальные общества должны были культивировать, естественно, совершенно другие техники. Власть китайского императора, пишет Марко Поло, распространяется на все те земли, где в качестве платежного средства признаются печатаемые им бумажные деньги. В данном случае роль императорских купюр оказывается не столько экономической, сколько символической — им доверяют те, кто признает над собой власть государя, а признают над собой его власть те, кто доверяет таким деньгам. Не только бумажные, но и менее экзотические металлические деньги являются, естественно, одним из способов для правителя «победить пространство» и присутствовать везде, куда должна простирается его власть — хотя бы в виде профиля на монете. Таких средств «заочного присутствия» было выработано немало — упоминавшиеся выше императорские портреты и статуи в «иконическом» Риме — лишь одно из них, хотя и очень характерное. Гербы, девизы, бэджи, «цвета» в «неиконическом» Средневековье — другое, возможно, не менее эффективное. Повсеместное воскресное моление в каждой церкви за короля и его воинство, введенное Карлом Великим, — средство третье. Весьма своеобразной была практика «умножения фигуры правителя», которая относительно неплохо известна на примере папских легатов. Высшая категория посланцев папы (т. н. легаты *de latere*), похоже, имели право «являть собой образ папы» — т. е. носили папские облачения, пользовались правами папы и даже применяли его печать — все это, разумеется, только в тех краях,

куда папа их направлял от своего имени. Список символических средств «борьбы с расстояниями» можно продолжать. Так или иначе речь идет об образах, обеспечивавших повсеместность виртуального присутствия власти в условиях, когда еще нет ни бюрократии современного образца, ни масс-медиа.

Второй проблемой, не менее трудноразрешимой, чем борьба с пространством, всегда была *прерывистость, дискретность* власти. В обществе, где вся «система управления» представляла собой не современное институционализированное государство, а продолжение *личности* государя, кончина последнего означала потрясение основ всего общественного порядка. Как раз в таких ситуациях разрыва «ткани власти» активность по созданию ее образов резко усиливается. Одни действия при этом бывают направлены на подчеркивание обрыва, цезуры, перехода, исчезновения одной социальной вселенной и возникновения новой⁴³, но есть и другие, цель которых, напротив, в том, чтобы передать идею преемственности, непрерывности существования власти, неподверженности ее смерти. Символическое преодоление паузы в правлении само по себе возможно только при помощи соответствующих образов, замещающих физически отсутствующего правителя. «Обрыв власти» представлял собой, скажем, в Риме, пожалуй, куда более трудную проблему, чем «проблема пространства», с которой римляне до поры до времени неплохо справлялись при помощи изображений. Приближенным приходилось то подолгу скрывать смерть государя (как при кончине Августа), то создавать фикцию продолжения государственного служения — но мертвому правителю (как после смерти Константина, если верить рассказу Евсевия Памфила). Здесь нет необходимости приводить хорошо известные благодаря книгам Р. Гизи⁴⁴ и Э.Х. Канторовича⁴⁵ примеры из похоронного церемониала Франции позднего Средневековья и начала Нового времени, показывающие, как тогда наводились символические мостики между краями разверзшейся пропасти безвластия. Достаточно отметить, что данными примерами дело далеко не исчерпывается, и эксперименты по «залатыванию» символическими средствами разорванной «ткани власти» велись постоянно. Вряд ли Э.Х. Канторович прав, начиная поиски соответствующих попыток только с XII века, — их хватало и раньше.

Третья «базовая проблема», неизменно требующая того или иного отражения в мире образов, связанных со властью, выглядит менее драматичной, чем первые две, но от того она не легче разрешаема. Любая концепция

⁴³ См. об этом, например: *Бойцов М.А.* Величие и смирение. С. 249–322.

⁴⁴ *Giesey R. E.* The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France. Genève, 1970 (Travaux d'Humanisme et Renaissance, 37).

⁴⁵ *Kantorowicz E. H.* Op. cit. P. 409–437.

власти подразумевает и концепцию иерархического устройства общества, обоснования неравенства, дающего право одним властвовать над другими. Однако моделируется эта иерархичность всякий раз по-разному, с опорой на различные аргументы и средства выражения. В свое время Норберт Элиас предложил рассматривать придворное общество прежде всего как средство выстраивания и поддержания иерархии⁴⁶. Эта характеристика далеко не исчерпывает ни основных черт двора как социального института, ни, тем более, механизмов выстраивания и обоснования иерархичности общественного устройства (к тому же «устройство» двора служит поддержанию иерархии только в узком, хотя и чрезвычайно влиятельном, слое привилегированных общественных групп).

Наконец, четвертая проблема, которая заслуживала бы, возможно, того, чтобы быть названной в первую очередь, — это проблема *интерпретации* тех или иных образов, которая, естественно, стоит перед современным историком, но, пожалуй, не менее существенной была и для наших предков. Нам стоит представлять себе образные системы прошлого не как собрание однозначно трактуемых смыслов, но как поле борьбы за придание им тех или иных смыслов, как поле, на котором случались и поражения, и победы, и мирные соглашения на основе тех или иных компромиссов. Вспомним описания Лиутпрандом Кремонским двух его визитов в Константинополь — сколь решительно различаются между собой созданные им образы византийского двора, принятого там церемониала и правящих василевсов. Дело тут, разумеется, не в случившейся вдруг деградации константинопольской власти, а в обиде Лиутпранда на скверный прием при его втором, неудачном посольстве. Иными словами, одно и то же явление может быть по-разному понято и тем более по-разному описано. Фиксация тех или иных символических «жестов» в источниках является фиксацией определенного *взгляда* на эти «жесты», вовсе не обязательно совпадающего с намерениями их организаторов. Тут можно согласиться с американским историком Ф. Бюком⁴⁷, призывавшим не проявлять излишнюю доверчивость по отношению к сообщениям средневековых авторов, описывавших политические ритуалы. Однако вряд ли стоит полностью разделять на этом основании общий пессимизм Ф. Бюка относительно нашей возможности проникнуть в мир средневекового (в его случае раннесредневекового) ритуала. Просто интерпретации тех или иных ритуалов должны стать для историка не менее значимым объектом (а скорее даже более значимым), чем сами эти ритуалы «как они были на самом деле». Когда курфюрсты готовились низложить

⁴⁶ *Elias N.* Die höfische Gesellschaft. Frankfurt a. M., 1983 (Soziologische Texte, 54). Русский перевод: *Элиас Н.* Придворное общество. М., 2002.

⁴⁷ *Buc Ph.* The Dangers of Ritual: Between Early Medieval Texts and Social Scientific Theory. Princeton; Oxford, 2001.

несостоятельного, по их мнению, короля Римского Вацлава Люксембурга (чего им и удалось добиться в 1400 г.), они распускали слухи, в частности, об обстоятельствах крещения будущего короля в 1361 г. Оказывается, тогда Вацлав обделался прямо в крещальной купели! Выяснение подлинных обстоятельств этого важного политического события, действительно, выходит за пределы возможностей историка. Однако его вполне может удовлетворить анализ стратегии диффамации короля-неудачника его противниками: они дали такое описание первого же в его жизни ритуала, которое не оставляло места сомнениям в том, что и всем последующим начинаниям люксембургского принца с самого начала не суждено было кончиться добром, а его правлению был предопределен бесславный конец. Не стоит разыскивать «подлинный смысл» того или иного образа исключительно в намерениях его создателей — мы обнаружим не меньше «подлинных смыслов» и в том, как этот образ воспринимали и интерпретировали его реципиенты.

И последнее — на всякий случай и во избежание недопонимания. Разумеется, образы не существуют сами по себе, не ведут собственную, отдельную жизнь в чистом эфире. Их производство, применение и восприятие осуществляется людьми, наделенными всеми присущими человеку качествами и свойствами. Поэтому социальный, экономический и психологический контекст свойствен любой символической практике⁴⁸. Наполнение пределов Римской империи статуями и иными изображениями правящих императоров предполагало централизованное правление, развитую экономику, эффективные коммуникации. Достаточно привести в пример распространение репрезентативного «императорского» материала, каким являлся порфир. Каменоломни по его добыче существовали, как известно, в одном-единственном месте, в безжизненной египетской пустыне между Нилом и берегом Красного моря. Производство статуй, колонн, тронов, саркофагов, каменных плит, ванн и т. п. было возможно только при четкой централизованной организации, и тоже лишь при ней могли действовать как система государственных заказов, так и транспортировка порфировых заготовок по Нилу в Александрию, а затем готовой продукции оттуда во все концы империи. Вся эта индустрия стала на ноги только благодаря переменам в системе ценностей, вследствие которых порфир из камня, первоначально считавшегося просто красивым, наряду со многими другими и далеко не самым ценным, превратился за свою близость по цвету к пурпуру в «царский камень» и стал требовать соответствующего к себе отношения. Децентрализация империи, распад транспортных систем, нестабильность времен варварских завоеваний сделали невозможными

⁴⁸ См. об этом подробнее: *Бойцов М.А.* Накануне. Ахенские коронационные въезды под разными углами зрения // *Одиссей. Человек в истории* 1997. М., 1998. С. 171–203, здесь с. 189–192.

производство и доставку новых порфировых изделий их потенциальным потребителям. И хотя совсем из моды порфир в империи не вышел (заново использовали то, что уже имелось в наличии), совсем другие материалы заняли его место в качестве исключительных средств репрезентации как при императорском дворе, так и в церковном пространстве.

Может быть, еще более глубокие перемены в облике власти случились ранее, когда после смерти императора Галлиена (268 г.) распалась централизованная организация производства императорских портретов⁴⁹. Так или иначе, образный мир власти не может быть изолирован от остальных сторон человеческого бытия. Отсюда, однако, еще вовсе не следует, что путь к постижению потестарных образов необходимо прокладывать только с этих сторон. Скорее наоборот: как раз изучение образов власти приведет нас к лучшему пониманию общества и культуры как целостности.

⁴⁹ *L'Orange H.P.* Studien zur Geschichte des spätantiken Porträts. Oslo, 1933 (Institutet for sammenlignende Kulturforskning. Serie B: Skrifter, 22). S. 15, 268.